

ГЮСТАВ
ФЛОБЕР



Гюстав Флобер

Простая душа

Scan, OCR, SpellCheck: Sad369

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159748

Флобер Г. Собрание сочинений в 5 т.: Правда; Москва; 1956

Оригинал: GustaveFlaubert, "Trois contes"

Перевод:

И. Соболевский

Аннотация

Вступительная статья и примечания А.Ф.Иващенко.

В четвертый том вошли произведения: «Кандидат» (перевод Т.Ириновой), «Легенда о св. Юлиане Странноприимце» (перевод М.Волошина), «Простая душа» (перевод Н.Соболевского), «Иродиада» (перевод М.Эйхенгольца), «Бувар и Пекюше» (перевод И.Мандельштама).

Содержание

I	4
II	7
III	22
IV	42
V	54
ПРИМЕЧАНИЯ	57

Густав Флобер

Простая душа

I

В продолжение целого полувека служанка г-жи Обен, Фелиситэ, была предметом зависти пон-л'эвекских дам.

За сто франков в год она стряпала, убирала комнаты, шила, стирала, гладила; она умела запрягать лошадь, откармливать птицу, сбивать масло и оставалась верна своей хозяйке, хотя та была особа не из приятных.

Муж г-жи Обен, красивый, но бедный малый, умер в начале 1809 года, оставив ей двух маленьких детей и множество долгов. Она продала свои поместья, кроме тукской и жефосской ферм, которые давали всего-навсего пять тысяч франков дохода, и переселилась из своего дома на улице Сен-Мелен в другой, требовавший меньших расходов. Он издавна принадлежал семье г-жи Обен и находился за рынком.

Дом этот, крытый черепицей, был расположен между проездом и улочкой, выходявшей на реку. Полы в одной комнате были ниже, чем в другой, отчего все спотыкались. Узкие сени отделяли кухню от зала, где г-жа Обен по целым дням сидела у окна в соломенном кресле. Вдоль выбеленной стены стояло восемь стульев красного дерева. На старом форте-

пиано, под барометром, возвышалась пирамида коробочек и папок. По бокам желтого мраморного камина в стиле Людовика XV висели гобелены с двумя пастушками. Посредине стояли часы, изображавшие храм Весты. В комнате слегка пахло плесенью: пол ее был ниже уровня сада.

Во втором этаже находилась прежде всего большая комната «барыни», оклеенная обоями с бледными цветами; в ней висел портрет «барина» в щегольском костюме. Дверь из нее вела в комнату меньших размеров, где стояли две детские кровати без тюфяков. Дальше была всегда запертая гостиная, уставленная мебелью в чехлах. Из коридора попадали в кабинет. Книги и вороха исписанной бумаги наполняли полки, окружавшие с трех сторон широкий письменный стол черного дерева. Два панно на шарнирах, сплошь покрытые рисунками пером, пейзажами, сделанными гуашью, и гравюрами Одрана, напоминали о лучших временах и о былой роскоши. Слуховое окно в третьем этаже освещало комнату Фелиситэ, выходившую на луга.

Она вставала с зарей, чтобы не пропустить ранней обедни, и работала до вечера без отдыха. После обеда, убрав посуду и плотно закрыв дверь, она зарывала в золу головешку и дремала у очага, с четками в руках. Никто не умел так торговаться, как она. Что касается чистоты, то блеск ее кастрюль приводил в отчаяние других служанок. Она была бережлива и ела медленно, подбирая со стола крошки хлеба; она пекла для себя ковригу в двенадцать фунтов, и ее хватало на два-

дцать дней.

Во всякое время года Фелиситэ носила ситцевый платок, приколотый сзади булавкой, чепец, скрывавший волосы, серые чулки, красную юбку и фартук с нагрудником, как больничная сиделка.

У нее было худощавое лицо и пронзительный голос. Когда ей минуло двадцать пять лет, ей давали сорок, а после того как ей исполнилось пятьдесят, уже никто не мог определить ее возраста; всегда молчаливая, с прямым станом и размеренными жестами, она была похожа на автомат.

II

И у нее была своя любовная история.

Отец ее, каменщик, разбился насмерть, сорвавшись с лесов. Потом умерла мать, сестры разбрелись в разные стороны. Один фермер дал ей у себя пристанище и, хотя она была совсем маленькая, заставлял ее пасти в поле коров. Она дрогла в лохмотьях от стужи, пила, лежа плашмя на земле, болотную воду. Ее били за всякий пустяк и, наконец, прогнали за кражу тридцати су, которой она не совершила. Она поступила скотницей на другую ферму, и так как хозяева любили ее, приятели ей завидовали.



Однажды в августовский вечер (ей было тогда восемнадцать лет) они взяли ее с собой на бал в Кольвиль. Визг скрипок, фонарики на деревьях, пестрые костюмы, кружева, золотые крестики, толпа танцующих, подпрыгивавших в такт, – все это с первой же минуты ошеломило ее; у нее закружилась голова. Она скромно стояла в стороне, как вдруг к ней подошел щеголеватый молодой человек, который курил трубку, облокотясь на ручку корзины, и пригласил ее танцевать. Он угостил ее сидром, кофе, лепешками, подарил ей шелковый платок и, полагая, что она догадывается о его намерениях, вызвался ее проводить. На краю засеянного овсом поля он грубо повалил ее. Она испугалась и стала кричать. Он ушел.

Другой раз, вечером, на бомонской дороге, она хотела обогнать большой воз сена, который медленно двигался впереди, и, поровнявшись с ним, узнала Теодора.

Он подошел к ней как ни в чем не бывало, говоря, что она должна ему все простить, так как тогда «в голове у него шумело».

Она не знала, что ответить, и хотела убежать.

Но он заговорил об урожае и о наиболее видных лицах округи; его отец переселился из Кольвиля на ферму в Эко, так что они теперь соседи.

– А! – сказала она.

Он прибавил, что родные желают, чтобы он обзавелся сво-

им хозяйством. Впрочем, его не торопят, и он хочет раньше найти себе жену по вкусу. Она опустила голову. Тогда он спросил, думает ли она о замужестве. Она ответила, улыбаясь, что нехорошо смеяться над ней.

– Да нет же, ей-богу, нет! – и он обнял ее левой рукой за талию.

Она шла, поддерживаемая его объятием; они замедлили шаг. Дул теплый ветер, звезды блистали, огромный воз сена колыхался перед ними, и четверка лошадей, лениво переступая, поднимала пыль. Затем лошади сами повернули направо. Он еще раз обнял ее. Она исчезла в темноте.

На следующей неделе Теодор добился от Фелиситэ свидания.

Они встречались в укромных местах во дворе, за какой-нибудь стеной, под одиноким деревом. Она не была наивна, как барышни, – животные научили ее многому, – но здравый смысл и врожденная порядочность помешали ей пасть.

Это сопротивление разожгло страсть Теодора, и чтобы удовлетворить ее (а может быть, он и сам верил тому, что говорил), он предложил Фелиситэ выйти за него замуж. Она не знала, верить ему или нет. Он клялся всеми святыми.

Вскоре Теодор сообщил ей нечто весьма неприятное: в прошлом году родители поставили за него рекрута, но со дня на день его могли снова призвать; мысль о военной службе приводила его в ужас. Эта боязнь была для Фелиситэ дока-

зательством его любви, и она еще больше полюбила его. Она потихоньку пришла к нему ночью. Явившись на свидание, Теодор долго мучил ее своими опасениями и неотступными просьбами.

Наконец он объявил, что сам пойдет в префектуру за справками и сообщит все, что узнает, в следующее воскресенье, между одиннадцатью часами вечера и полуночью.

В назначенный час она прибежала к своему возлюбленному.

Вместо него она застала его приятеля.

Тот сказал, что ей больше нельзя видеть Теодора. Чтобы избавиться от солдатчины, он женился на очень богатой старухе, г-же Легуссэ из Тука.

Горю Фелиситэ не было границ. Она бросилась на землю, кричала, призывала бога и стонала до восхода солнца одна в поле. Затем она вернулась на ферму, объявила о своем намерении уйти и, получив в конце месяца расчет, завязала все свои пожитки в платок и отправилась в Пон-л'Эвек.

У входа в гостиницу она разговорилась с дамой во вдовьем чепце, которой как раз была нужна кухарка. Девушка мало понимала в кулинарном искусстве, но с такой готовностью соглашалась на все и была так нетребовательна, что г-жа Обен сказала в конце концов:

– Ладно, я вас беру!

Через четверть часа Фелиситэ водворилась у нее в доме.

На первых порах ее приводили в трепет «этикет дома» и

память о «барине», царившие над всем. Поль и Виргиния, – первому было семь лет, а второй едва минуло четыре, – казались ей сделанными из драгоценного материала; она таскала их на спине, как лошадь, но г-жа Обен запретила ей целовать их каждую минуту, что поразило ее в самое сердце. Тем не менее Фелиситэ чувствовала себя счастливой. Ее печаль растаяла в этом тихом уголке.

По четвергам приходили друзья сыграть партию в бостон. Фелиситэ заранее готовила карты и грелки. Гости являлись ровно в восемь часов и расходились около одиннадцати.

Каждый понедельник торговец случайными вещами, лавочка которого находилась в проезде, с раннего утра раскладывал на земле железный лом. Затем город наполнялся гулом голосов, к нему примешивались ржанье лошадей, бляенье ягнят, хрюканье свиней и стук телег, катившихся по улице. Около полудня, в самый разгар базара, на пороге появлялся старый высокий крестьянин с крючковатым носом, с фуражкой на затылке – жефосский фермер Роблен, а вскоре после него – Льебар, фермер из Тука, толстяк, маленького роста, с красным лицом, носивший серую куртку и кожаные гетры со шпорами.

Оба предлагали своей помещице кур или сыр. Фелиситэ неизменно разоблачала их плутни, и они удалялись, преисполненные уважения к ней.

С давних пор г-жу Обен навещал ее дядя, маркиз Греманвиль, промотавший все свое состояние и проживавший в Фа-

лезе на последнем клочке своих земель. Он всегда являлся к завтраку с ужасным пуделем, пачкавшим лапами мебель. Несмотря на старания казаться чистокровным аристократом, – он даже приподнимал шляпу всякий раз, когда говорил: «Мой покойный отец», – укоренившиеся привычки брали свое: он пил стакан за стаканом и отпускал двусмысленные остроты. Фелиситэ вежливо выпроваживала его, говоря: «Довольно, господин Греманвиль! До свидания!» – и запирала за ним дверь.

Она с удовольствием отворяла ее старому стряпчему, г-ну Бурэ. Его белый галстук и плешь, жабо, широкий коричневый редингот, манера нюхать табак, округляя руку, – все его существа вызывало в ней то смущение, в какое повергает нас вид необыкновенных людей.

Бурэ управлял поместьями «барыни» и целыми часами просиживал с ней, запершись в кабинете «барина»; он больше всего боялся уронить свое достоинство, был проникнут безграничным уважением к судейскому сословию и любил свернуть в разговор латинские слова.

Чтобы сделать уроки занимательными, он подарил детям географию в картинках. Они изображали сцены в различных частях света: каннибалов с перьями на голове, обезьяну, похищающую девушку, бедуинов в пустыне, охоту с гарпуном на китов и т. п.

Поль объяснил содержание этих картинок Фелиситэ. Этим и ограничилось все ее образование.

Детей обучал Гюйо – бедняк, служивший в мэрии; он славился своим почерком и имел обыкновение оттачивать перочинный нож на сапоге.

В ясную погоду отправлялись рано утром на жефосскую ферму.

Двор фермы был расположен на склоне холма; дом стоял посередине; море, видневшееся вдали, было похоже на серое пятно.

Фелиситэ доставала из корзинки ломтики холодного мяса, и все завтракали в комнате, примыкавшей к чулану для хранения молока. Одна лишь эта комната осталась от былых времен, когда дом служил дачей. Ветер шевелил обрывками обоев. Г-жа Обен сидела с поникшей головой, подавленная воспоминаниями; дети не осмеливались даже разговаривать. «Играйте же, играйте!» – говорила она, и они убежали.

Поль забирался в овин, ловил птиц, швырял в лужи камни, отчего по воде расходились круги, или барабанил палкой по огромным бочкам для вина.

Виргиния кормила кроликов, носилась по полю, собирая васильки, и ее кружевные панталончики мелькали на бегу.

Как-то раз осенью семья возвращалась вечером лугами.

Молодой месяц освещал часть неба, и, точно шарф, развеваемый ветром, носился туман над излучинами Тука. Лежавшие среди луга быки спокойно глядели на четыре двигающиеся фигуры. На третьем лугу несколько быков встали и окружили их. «Не бойтесь!» – сказала Фелиситэ и, что-

то приговаривая, погладила по спине быка, который стоял к ним ближе всех; тот отскочил назад; другие последовали за ним. Но когда они пересекали следующий луг, вдруг раздался ужасный рев. То был бык, которого скрывал туман. Он двинулся к ним навстречу. Г-жа Обен хотела бежать.

«Нет, нет, не бегите!» – говорила Фелиситэ. Однако они ускорили шаг; за их спиной все ближе и ближе раздавалось громкое сопение быка. Стук его копыт по траве был похож на удары молота. Вот он пустился вскачь. Фелиситэ обернулась, вырвала обеими руками пласт земли и стала бросать ее быку в глаза. Он страшно заревел и нагнул голову, потрясая рогами и дрожа от ярости. Г-жа Обен, растерявшись, пыталась перелезть со своими малютками через высокую ограду на краю луга. Фелиситэ шаг за шагом отступала перед быком, продолжая бросать ослеплявшие его комья дерна, и кричала: «Скорее! Скорее!»

Г-жа Обен спустилась в ров, подтолкнула Виргинию, затем Поля. Несколько раз она падала, стараясь взобраться на откос, и, наконец, с величайшим трудом вскарабкалась туда.

Бык прижал Фелиситэ к самой изгороди, брызгая пеной ей в лицо; еще мгновение – и он поднял бы ее на рога. Она успела проскользнуть между двумя перекладами, и огромное животное в недоумении остановилось.

В продолжение многих лет это событие служило в Понл'Эвеке темой для разговоров. Фелиситэ несколько не гордилась своим поступком, не подозревая даже, что проявила

героизм.

Все ее помыслы сосредоточились на Виргинии; девочка заболела от испуга, и доктор, г-н Пупар, рекомендовал ей морские купанья в Трувиле.

В те времена они мало посещались. Г-жа Обен навела справки, обратилась за советом к Бурэ и стала готовиться в путь так, как будто ей предстояло дальнейшее путешествие.

Чемоданы были отправлены накануне в двуколке Льебара. На следующий день он привел двух лошадей; на одной из них было дамское седло с бархатной спинкой, на крупе другой устроено сиденье из свернутого плаща. Г-жа Обен поместилась позади Льебара; Фелиситэ посадила с собой Виргинию, а Поль сел верхом на осла, которого одолжил г-н Лешаптуа, с условием беречь его, как зеницу ока.

Дорога была отвратительная; восемь километров ехали два часа. Лошади увязали в грязи по самые бабки, делая судорожные движения, чтобы вылезть из нее, или спотыкались, попадая в колею, а иногда им приходилось прыгать. В некоторых местах кобыла Льебара вдруг останавливалась. Льебар терпеливо ждал, когда она снова тронется, и рассказывал разные истории о владельцах земель, прилегавших к дороге, дополняя их рассуждениями морального свойства. Так, посреди Тука, когда они проезжали мимо окон с нагурциями, он сказал, пожимая плечами:

– Вот некая госпожа Легуссэ. Вместо того чтобы взять молодого парня...

Фелиситэ не слышала остального. Лошади побежали рысью, осел поскакал. Все пустились по тропинке, обогнули плетень. Появились два мальчика, и наши путешественники сошли, перешагнув через навозную жижу, прямо на порог двери.

Увидя хозяйку, старуха Льебар не знала, как выразить свою радость. Она подала завтрак. За жарким из филе следовали рубцы, кровяная колбаса, фрикасе из цыпленка, пенный сидр, фруктовый торт и сливы, настоенные на водке; все это приправлялось комплиментами по адресу барыни, у которой «такой прекрасный вид», барышни, которая стала «красавицей», и г-на Поля, который «выглядит молодцом». Она не забыла упомянуть об их покойных дедушке и бабушке, которых Льебары знали, так как служили нескольким поколениям Обенов.

Ферма была так же стара, как и они. Черви источили балки потолка, стены почернели от дыма, пол стал серым от пыли. В дубовом поставце хранились всевозможные инструменты и посуда: жбаны, тарелки, оловянные миски, волчьи капканы, ножницы для стрижки баранов. Огромная клистирная трубка вызвала смех детей.

На трех дворах фермы не было ни одного дерева, у корней которого не росли бы грибы, а на сучьях не торчали бы пучки омелы. Некоторые из них сорвал ветер. Они принялись снова и гнулись под тяжестью покрывавших их ягод. Неровные соломенные крыши, похожие на коричневый бархат, вы-

держали самые сильные бури. Но каретный сарай почти развалился. Г-жа Обен сказала, что подумает об этом, и велела седлать лошадей.

До Трувиля ехали еще полчаса. Маленький караван спешился, чтобы перейти через Экор, скалу, нависшую над судами. Через несколько минут они въехали во двор «Золотого ягненка» – гостиницы тетки Давид, в конце набережной.

С первых же дней Виргиния стала чувствовать себя лучше благодаря перемене климата и морским купаньям. За неимением особого костюма, она купалась в рубашке; няня одевала ее в домике таможенных надсмотрщиков, которым пользовались купальщики.

После обеда, захватив с собою ослика, отправлялись за Черные скалы, по направлению к Эннеквилю. Сначала тропинка поднималась по пересеченной местности, похожей на лужайку парка, а потом шла по плоскогорью, где пашни чередовались с пастбищами. Среди буйно разросшихся вдоль дороги кустов ежевики возвышался остролистник; там и сям сучья большого засохшего дерева зигзагами вырисовывались в голубом воздухе.

Почти всегда отдыхали на лугу между Довилем, лежавшим слева, и Гавром – справа. Впереди расстилалось открытое море. Оно блестело на солнце, гладкое, как зеркало, настолько тихое, что едва можно было уловить его рокот. Где-то чирикали воробьи. И все покрывал необъятный свод неба. Г-жа Обен, сидя, шила что-нибудь; около нее Виргиния пле-

ла камыши; Фелиситэ рвала цветы лаванды; Поль скучал, – ему хотелось домой.

Иногда, переехав в лодке Тук, собирали раковины. После отлива на берегу оставались морские ежи, водоросли, медузы, и дети бегали, стараясь поймать хлопья пены, которые уносил ветер. Сонные волны набегали на песок и развертывались вдоль бесконечного плоского берега, терявшегося вдаль; с суши границей были дюны, отделявшие взморье от Болота – широкого луга, имевшего форму конского ристалища. Когда они возвращались по этому лугу, Трувиль с каждым шагом вырастал перед ними на склоне холма, раскидываясь все шире и шире, со всеми своими рассыпавшимися в веселом беспорядке домиками.

В слишком знойные дни они не выходили из комнаты. Ослепительно сверкавшее солнце бросало полосы света через планки жалюзи. В деревне – ни звука. Внизу на тротуаре – ни души. Царившая повсюду тишина подчеркивала спокойствие, которым дышало все кругом. Издалека доносились удары молота конопатчиков, заклепывавших подводную часть судов, и тяжелый морской ветер приносил с собою запах смолы.

Любимым развлечением было наблюдать возвращение баркасов. Миновав буи, они начинали лавировать. Паруса спускались с мачт на две трети; нижний парус фок-мачты надувался, как шар, и баркасы скользили среди плеска волн, пока не достигали середины порта, где внезапно падал якорь.

Затем они причаливали к набережной. Матросы выбрасывали через борт трепещущую рыбу. Вереница тележек ожидала их, и женщины в ситцевых чепцах кидались за корзинами и обнимали мужей.

Как-то раз одна из них заговорила с Фелиситэ, и та вскоре, сияя, вошла в комнату. Она встретила свою сестру. Появилась Настази Баретт, жена Леру, с грудным младенцем; правой рукой она держала другого ребенка, а слева, рядом с нею, шел, подбоченясь, маленький юнга в матросской шапке набекрень.

Спустя четверть часа г-жа Обен выпроводила ее. Их постоянно встречали у порога кухни или во время прогулок. Муж не показывался.

Фелиситэ приняла в них участие. Она купила им одеяло, белья и печку; они явно ее эксплуатировали. Эта слабость раздражала г-жу Обен, которой к тому же не нравилось, что племянник Фелиситэ вел себя запанибрата с ее сыном: он говорил ему «ты»; и так как Виргиния начала кашлять, а погода испортилась, г-жа Обен вернулась в Пон-л'Эвек.

Г-н Бурэ помог ей выбрать коллеж и указал на канский, считавшийся лучшим. Поля отправили туда, и он простился без слез, радуясь, что ему предстоит жить в доме, где у него будут товарищи.

Г-жа Обен решила на разлуку с сыном, потому что это было необходимо. Виргиния стала мало-помалу забывать брата. Фелиситэ с сожалением вспоминала беготню Поля.

Но у нее явилось занятие, которое развлекало ее: начиная с рождества она ежедневно водила девочку на уроки закона божия.

III

Фелиситэ преклоняла в дверях колени, а затем проходила между двумя рядами стульев под высокими сводами храма, опускала скамью г-жи Обен, садилась и оглядывала все вокруг.

Справа мальчики, слева девочки заполняли места на хорах; кюре стоял у аналоя. На одном из расписных окон абсиды святой дух парил над дево́й Марией; на другом она была изображена коленопреклоненной перед младенцем Иисусом; а за престолом виднелось деревянное изваяние – архангел Михаил, поражающий дракона.

Сначала кюре читал отрывки из священного писания. Фелиситэ казалось, что она видит рай, потоп, вавилонскую башню, города, объятые пламенем, погибающие народы, ниспровергнутых идолов. От этих ослепительных видений в ее душе оставалось благоговение перед всевышним и страх перед его гневом. Она плакала, слушая о страстях господних. За что они распяли его? Он так любил детей, насыщал толпы народа, исцелял слепых и, по милосердию своему, пожелал родиться среди бедняков, в хлеву, на соломе. Посевы, жатвы, давальни для винограда – все эти предметы повседневной жизни, о которых говорит евангелие, были так хорошо знакомы ей; бог освятил их своим присутствием. И она стала нежнее любить ягнят, из любви к агнцу, и голубей, – потому

что дух святой принял образ голубя.

У Фелиситэ было очень смутное представление о нем, ибо он был не только птицей, но и огнем, а иногда дуновением. Быть может, свет, блуждающий ночью на краю болот, исходит от него, его дыхание гонит тучи, от его голоса становится гармоничным звон колоколов?.. И она пребывала в состоянии экстаза, наслаждаясь веявшей от стен прохладой и спокойствием храма.

Что касается догматов, то она ничего в них не понимала и даже не старалась понять. Кюре объяснял, дети отвечали. Она в конце концов начинала дремать, – и вдруг просыпалась, когда они, уходя, стучали своими деревянными башмаками по каменным плитам.

Слушая, Фелиситэ познакомилась с законом Божиим, – ее религиозное воспитание было заброшено в молодости, – и с тех пор она во всем подражала Виргинии: постилась и исповедывалась вместе с нею. В праздник тела господня обе они соорудили алтарь на пути церковной процессии.

Немало тревог пережила Фелиситэ перед первым причастием. Она волновалась из-за ботинок, четок, молитвенника, перчаток. С каким трепетом помогала она матери одевать Виргинию!

В продолжение всей обедни Фелиситэ томилась ожиданием. Г-н Бурэ заслонял от нее одну сторону хоров; но прямо напротив нее видна была толпа девушек в белых венках и опущенных вуалях, походившая на снежное поле, и она

узнала издали свою дорогую крошку с ее тоненькой шейкой, всецело ушедшую в молитву. Зазвенел колокольчик. Головы склонились; воцарилось молчание. Вдруг раздались громовые звуки органа, певчие и все присутствующие запели «Agnus Dei»; затем началось шествие мальчиков; вслед за ними поднялись девочки. Сложив руки, они шаг за шагом подвигались к алтарю, который весь горел огнями, становились на колени на первую ступень, причащались одна за другой и в том же порядке возвращались на свои места. Когда очередь дошла до Виргинии, Фелиситэ нагнулась, чтобы видеть ее, и, с той силой воображения, какую дает истинная любовь, перенеслась в этого ребенка: лицо Виргинии сделалось ее лицом; на ней было надето ее платье; в груди билось ее сердце, и когда та, закрыв глаза, открыла рот, Фелиситэ едва не лишилась чувств.

На другой день рано утром она тоже предстала перед ризницей, чтобы принять из рук г-на кюре причастие. Она приняла его с благоговением, но не испытала такого восторга, как накануне.

Г-жа Обен хотела, чтобы ее дочь получила образцовое воспитание, и так как Гюйо не мог давать ей уроков английского языка и музыки, то она решила поместить Виргинию в пансион урсулинок в Гонфлере.

Девочка не противилась. Фелиситэ вздыхала, находя барыню бесчувственной. Потом она стала думать, что ее хозяйка, может быть, поступает правильно; не ее дело судить о та-

ких вещах.

И вот однажды у крыльца остановилась старая повозка, из которой вышла монахиня, приехавшая за барышней. Фелиситэ разместила вещи наверху, дала наставление кучеру и положила в кузов шесть банок варенья, десяток груш и букет фиалок.

В последний момент Виргиния зарыдала; она обняла мать, которая поцеловала ее в лоб, повторяя: «Ну не плачь же! Не плачь!»

Подножка поднялась, повозка тронулась.

Г-жа Обен совсем расстроилась, и все ее друзья, – семейство Лормо, г-жа Лешаптуа, барышни Рошфейль, г-н де Гуппевиль и Бурэ, – явились вечером утешать ее.

Разлука с дочерью сначала очень удручала г-жу Обен; но она три раза в неделю получала от нее письма, в остальные дни писала ей сама, гуляла в саду, читала понемногу и таким образом коротала время.

Фелиситэ по привычке входила по утрам в комнату Виргинии и окидывала взглядом стены. Она скучала, так как не могла больше причесывать ей волосы, зашнуровывать ботинки, укладывать ее в постель, постоянно видеть ее милое лицо и держать за руку, выходя из дому. Не зная, куда девать время, она попробовала вязать кружева; ее огрубевшие пальцы рвали нитки; она стала ко всему равнодушна, потеряла сон; по ее словам, ее «заела тоска».

Чтобы «рассеяться», она попросила позволения пригла-

шать своего племянника Виктора.

Он являлся в воскресенье после обедни, краснощекий, с голой грудью, и приносил с собой запах полей. Фелиситэ тотчас же накрывала на стол. Они завтракали, сидя друг против друга. Сама она, чтобы не было лишнего расхода, ела как можно меньше, но зато угощала Виктора так усердно, что он в конце концов засыпал. Как только звонили к вечерне, она будила его, чистила ему брюки, завязывала галстук и отправлялась в церковь, с материнской гордостью опираясь на его руку.

Родители всегда поручали Виктору что-нибудь выпросить у нее: сахарного песку, мыла, водки, а иногда и денег. Он приносил ей для починки всякое старье, и она охотно бралась за работу, радуясь тому, что он лишний раз навестит ее.

В конце августа отец взял его в береговое плавание.

Это как раз совпало с временем каникул. Приезд детей утешил Фелиситэ. Но Поль сделался капризным, а Виргиния так выросла, что было неудобно говорить ей «ты». Между ними стала стена, непринужденность отношений исчезла.

Виктор побывал в Морле, Дюнжерке, Брайтоне и всегда возвращался с каким-нибудь подарком. В первый раз он привез Фелиситэ шкатулку из раковин, во второй – чашку для кофе, в третий – пряничную фигурку. Он похорошел, очень вырос, у него начинали пробиваться усы; глаза были добрые, честные, и он носил маленькую кожаную шапочку, заломив ее назад, как лоцман. Он забавлял ее рассказами, в которые

вставлял морские термины.

В понедельник, 14 июля 1819 года (она не забыла этой даты), Виктор сообщил, что отправляется в дальнейшее плавание и едет послезавтра в ночь на пакетботе из Гонфлера в Гавр, на свою шхуну, которая должна вскоре отчалить. Он проплавет, может быть, два года.

Перспектива такой долгой разлуки привела Фелиситэ в отчаяние, и вот, в среду, после обеда барыни, она надела башмаки на деревянной подошве и отмахала четыре льё от Пон-л'Эвека до Гонфлера, чтобы сказать ему последнее «прости».

Когда она подошла к Голгофе, то, вместо того чтобы повернуть налево, пошла направо, заблудилась в верфях и вернулась назад. Люди, к которым она обращалась, советовали ей торопиться. Натыкаясь на канаты, она обогнула док, полный судов; затем начался спуск. Замелькали огни, и она подумала, что сходит с ума, увидя в небе коней; другие ржали на краю набережной, пугаясь моря. Их поднимали на блоках и спускали в судно, где пассажиры толкались между бочками сидра, корзинами сыра, мешками зерна. Слышно было кудахтанье кур. Ругался капитан. А на носу, облокотясь на крон-балку, стоял юнга, не обращая на все это никакого внимания. Фелиситэ, сначала не узнавшая его, крикнула: «Виктор!» Он поднял голову; она бросилась к нему; но в эту минуту убрали сходни.

Пакетбот, который женщины тянули с песнями бечевой,

вышел из порта. Он скрипел; тяжелые волны хлестали об его нос. Паруса были спущены, на судне никого не было видно; оно черным пятном выделялось на море, посеребренном лунной, постепенно тускнело, погружаясь во мглу, и, наконец, исчезло.

Когда Фелиситэ проходила мимо Голгофы, ей захотелось попросить бога, чтобы он не оставил того, кто был ей дороже всего, и она долго молилась, простояв на одном месте; лицо ее было мокро от слез, а глаза устремлены на облака.

Город спал; таможенные надсмотрщики расхаживали по берегу; несмолкаемый шум воды, падавшей через шлюзы, походил на грохот грома. Пробыло два часа.

В приемную монастыря пускали лишь днем. Если бы она опоздала, то барыня, конечно, была бы недовольна; и Фелиситэ побрела домой, несмотря на желание обнять другого ребенка. Служанки гостиницы только что начинали вставать, когда она входила в Пон-л'Эвек.

Бедный мальчуган! Сколько месяцев он будет носиться по волнам! Его прошлые путешествия не пугали Фелиситэ; из Англии и Бретани возвращаются; но Америка и колонии, острова – это неведомые страны на краю света, где пропадают без вести.

С тех пор Фелиситэ думала исключительно о племяннике. В солнечные дни ее мучила мысль, что он изнемогает от жажды; в грозу она боялась, что его убьет молния; когда ветер завывал в трубе и срывал черепицы, ей представлялось,

что эта же буря мечет Виктора, и он, скрывшись под пеленой пены и опрокинувшись назад, держится за верхушку сломанной мачты. Или же – воспоминания из географии в картинках – его пожирали дикари, похищали в лесу обезьяны, он умирал на пустынном морском берегу. Но она никогда не говорила о своем беспокойстве.

А г-жа Обен тревожилась за дочь.

Монахини находили, что девочка очень ласкова, но слишком хрупкого здоровья. Малейшее волнение вызывало у нее упадок сил. Ей пришлось оставить игру на фортепиано.

Мать требовала регулярной корреспонденции из монастыря. Как-то раз утром почтальон не пришел. Г-жа Обен в тревоге ходила взад и вперед по залу. Четыре дня нет вестей! Чтобы утешить ее, Фелиситэ привела в пример себя:

– А я, барыня, вот уже полгода не получаю писем...

– От кого это?

Служанка кротко ответила:

– Да... от моего племянника.

– А, от вашего племянника!

И, пожав плечами, г-жа Обен стала снова ходить по комнате; она точно хотела сказать: «А мне это и в голову не приходило. Да и какое мне дело до него? Какой-то юнга, нищий, ничтожество!.. Тогда как моя дочь... Вы только подумайте!..»

Фелиситэ возмутилась, хотя с самого детства не видела ничего, кроме суровости; потом она все забыла.

Ей казалось вполне естественным потерять голову из-за малютки.

Оба ребенка были одинаково дороги ей; одни и те же нити связывали их с ее сердцем; и их ждала одинаковая судьба.

Фелиситэ узнала от аптекаря, что судно Виктора прибыло в Гаванну. Он прочел об этом в газете.

Благодаря своим сигарам Гаванна представлялась Фелиситэ страной, где все только и делают, что курят; и Виктор расхаживает там среди негров в облаках дыма. Можно ли «в случае надобности» вернуться оттуда сухим путем? Далеко ли Гаванна от Пон-л'Эвека? Она обратилась к г-ну Бурэ с просьбой объяснить ей это.

Он достал атлас и пустился в объяснения относительно долгот, с улыбкой педанта поглядывая на Фелиситэ, которая только хлопала глазами.

– Вот! – сказал он наконец, указывая карандашом на чуть заметную черную точку в вырезе овального пятна.

Фелиситэ наклонилась над картой; она глядела на сеть разноцветных линий и ничего не могла разобрать; у нее зрябило в глазах, и когда Бурэ спросил ее, что ее смущает, она попросила его показать дом, где живет Виктор. Бурэ развел руками, чихнул и принялся хохотать, как сумасшедший; такое простодушие привело его в восторг. Фелиситэ не понимала причины его смеха; она, может быть, ожидала даже увидеть портрет своего племянника, – так ограничена была она.

Две недели спустя, в базарный день, Льебар вошел, по обыкновению, в кухню и подал ей письмо; оно было от ее зятя. Оба были неграмотны, и Фелиситэ обратилась за помощью к хозяйке.

Г-жа Обен считала петли вязанья. Положив около себя работу, она распечатала письмо, вздрогнула и с затуманившимся взором чуть слышно произнесла:

– Вас извещают о несчастье... Ваш племянник...

Он умер. Больше ничего не говорилось о нем.

Фелиситэ упала на стул, прислонившись головой к перегородке, и закрыла веки, которые внезапно порозовели.

– Бедный мальчик! Бедный мальчик! – повторяла она с поникшей головой, с бессильно повисшими руками, с устремленными в одну точку глазами.

Льебар вздыхал, глядя на нее. Г-жу Обен слегка трясло.

Она предложила Фелиситэ пойти в Трувиль, повидаться с сестрой.

Фелиситэ ответила жестом, что это лишнее.

Наступило молчание. Добряк Льебар счел за лучшее удалиться.

Тогда она сказала:

– Им это все равно!

Ее голова снова упала на грудь, и она стала машинально перебирать вязальные спицы, лежавшие на рабочем столе.

Во дворе женщины пронесли шест с бельем, с которого капала вода.

Увидя их из окна, Фелиситэ вспомнила о стирке: она стирала накануне, сегодня надо было полоскать, – и она вышла из комнаты.

Ее мостки и бочка находились на берегу Тука. Она бросила на откос кучу рубашек, засучила рукава, взяла валец, и звонкие удары огласили соседние сады. Луга были пусты; ветер поднял на реке зыбь; высокие травы вдалигнулись, как волосы трупов, плывущих в воде. Она крепилась и бодрилась до самого вечера, но у себя в комнате, лежа ничком на постели, отдалась горю, уткнувшись лицом в подушку и сжав кулаками виски.



Много времени спустя она узнала от самого капитана Виктора подробности об его кончине. Он заболел желтой лихорадкой, и ему сделали в больнице слишком сильное кровопускание. Его держали четыре доктора сразу. Он умер тотчас же, и старший врач сказал:

– Ладно. Еще один!

Родители всегда обращались с Виктором варварски. Фелиситэ предпочла не видаться с ними более. А они не давали о себе знать по забывчивости или из черствости задавленных нуждой людей.

Виргиния хирела.

Удушье, кашель, постоянная лихорадка и пятна на щеках указывали на какую-то болезнь. Г-н Пупар посоветовал везти ее в Прованс. Г-жа Обен решила ехать туда и взяла бы дочь домой немедленно, если бы не климат Пон-л'Эвека.

Г-жа Обен договорилась с извозчиком, и он возил ее по вторникам в монастырь.

В саду была площадка, откуда открывался вид на Сену. Виргиния гуляла там по опавшим виноградным листьям под руку с матерью. Щурясь от солнца, которое по временам пронизывало облака, она глядела на белевшие вдали паруса и на небосклон, раскинувшийся от Танкарвильского замка до маяков Гавра. После прогулки отдыхали в беседке. Мать достала бочонок превосходной малаги. Виргинию забавляла мысль, что она будет пьяной, и она отпивала из стакана два

глотка, не больше.

Силы вернулись к ней. Осень прошла спокойно. Фелиситэ ободряла г-жу Обен. Но однажды вечером, возвращаясь из окрестностей, куда она ходила по делу, Фелиситэ увидела у подъезда кабриолет г-на Пупара; сам он стоял в снях; г-жа Обен завязывала ленты шляпы.

– Дайте грелку, кошелек, перчатки. Скорее! Виргиния заболела воспалением легких, и, может быть, положение ее безнадежно.

– Пока еще нет, – сказал доктор.

Их осыпали кружившиеся хлопья снега, оба сели в экипаж. Наступала ночь. Стало очень холодно.

Фелиситэ бросилась в церковь, чтобы поставить свечу. Затем она побежала за кабриолетом, догнала его через час; легко вскочила на него сзади, держась за шнуры, но тут у нее мелькнула мысль:

«Ворота остались открытыми! Как бы не залезли воры!» И она соскочила.

На другой день, едва занялась заря, Фелиситэ явилась к доктору. Он вернулся, но снова отправился в деревню. Она осталась в гостинице, ожидая письма, которое, казалось ей, кто-то должен был принести.

Наконец на рассвете она села в дилижанс, ходивший в Ливье.

Монастырь находился в конце переулка, поднимавшегося в гору. Дойдя до середины его, Фелиситэ услышала стран-

ные звуки – погребальный звон. «Умер кто-нибудь другой!» – подумала она и стала неистово стучать молотком.

Через несколько минут раздалось шлепанье стоптанных туфель, дверь приотворилась, и показалась монахиня. Она с сокрушенным видом сказала, что «барышня только что скончалась». Звон колокола св. Леонарда раздался громче прежнего.

Фелиситэ поднялась на третий этаж.

С порога комнаты она увидела Виргинию, распростертую на спине, со сложенными руками, открытым ртом и запрокинутой назад головой; под черным распятием, между неподвижными занавесями, ее лицо могло поспорить с ними белизной. Г-жа Обен судорожно рыдала, ухватившись руками за спинку кровати. Направо стояла настоятельница. Три свечи на комодке бросали красные отблески, а окна казались белыми от тумана. Монахини увели г-жу Обен.

В продолжение двух ночей Фелиситэ не отходила от умершей. Она повторяла одни и те же молитвы, кропила святой водой простыни, снова садилась и пристально смотрела на нее.

После первой ночи она заметила, что лицо Виргинии пожелтело, губы посинели, нос заострился, глаза впали. Она несколько раз поцеловала их и не была бы особенно удивлена, если бы Виргиния их открыла: для таких, как Фелиситэ, сверхъестественное кажется самой обыкновенной вещью. Она убрала умершую, завернула в саван, опустила в

гроб, возложила на нее венок, расплела косы. Они были белокурые и необычайной для возраста девочки длины. Фелиситэ отрезала большую прядь и спрятала часть у себя на груди, чтобы никогда не расставаться с нею.

По настоянию г-жи Обен, тело было перевезено в Пон-л'Эвек; она следовала за погребальной колесницей в карете. После заупокойной обедни пришлось идти еще три четверти часа до кладбища. Поль, рыдая, шагал впереди. Сзади шли г-н Бурэ, городская знать, женщины в черном и Фелиситэ. Фелиситэ думала о своем племяннике: она не могла отдать ему последний долг и чувствовала, что ее горе растет, как будто она хоронила его вместе с Виргинией.

Отчаяние г-жи Обен было беспредельно.

Сначала она возроптала на бога, находя несправедливым, что он отнял у нее дочь: ведь она никому не сделала зла, и совесть ее была чиста, как кристалл. Нет! Она должна была увезти дочь на юг. Другие доктора спасли бы ее. Г-жа Обен обвиняла себя, хотела соединиться с нею, в тоске кричала во сне; ее мучили кошмары. Особенно часто снился ей один сон: ее муж, одетый матросом, возвращался из далекого путешествия и со слезами говорил ей, что ему приказано взять с собой Виргинию, и они обдумывали, где бы ее укрыть.

Однажды г-жа Обен вернулась из сада потрясенная. Муж и дочь только что явились к ней вместе (она показывала, где). Они ничего не делали, – они только смотрели на нее.

В течение нескольких месяцев она не выходила из своей

комнаты: ею овладела апатия. Фелиситэ нежно уговаривала ее не падать духом и побережь себя для сына и для дорогого уголка в память «о ней».

– В память о ней? – повторила г-жа Обен, как бы пробуждаясь. – Ах, да, да!.. Вы о ней не забываете!

Это был намек на могилу, посещать которую г-же Обен было строго запрещено.

Фелиситэ ежедневно ходила туда.

Ровно в четыре часа она огибала дом, поднималась на холм, открывала калитку кладбища и шла к могиле Виргинии. Над могильной плитой возвышалась небольшая колонка из розового мрамора. Разбитый около нее цветник был окружен цепью. Клумбы утопали в цветах. Фелиситэ поливала их, насыпала свежего песку; стоя на коленях, она разрыхляла землю. Когда г-жа Обен смогла прийти туда, она испытала облегчение и как будто утешилась.

Потянулись годы, похожие один на другой; лишь большие праздники – пасха, успение, день всех святых – нарушали их однообразие. События домашней жизни служили датами, на которые после ссылались.

Так, в 1825 году двое маляров выкрасили сени; в 1827-ом на двор упала часть крыши и едва не задавила человека; летом 1828 года барыня раздавала просфоры. Спустя некоторое время таинственно исчез Бурэ, и г-жа Обен мало-помалу потеряла своих старых знакомых – Гюйо, Льебара, г-жу Лешаптуа, Роблена, дядюшку Греманвиля, уже давно разби-

того параличом.

Однажды ночью кондуктор мальпоста привез в Пон-л'Э-век весть об Июльской революции. Через несколько дней был назначен новый супрефект, барон де Ларсоньер, бывший раньше консулом в Америке. Он был женат, и у него жила свояченица с тремя уже довольно взрослыми дочерьми. Их часто видели на лужайке перед домом в развевающихся блузках. У них были негр и попугай. Они явились с визитом к г-же Обен; та не замедлила его отдать. Завидя их издали, Фелиситэ бежала предупредить барыню. Но ничто не могло вывести ее из апатии, кроме писем сына.

Он бездельничал, проводя целые дни в кафе. Мать платила его долги; сын делал новые. И вздохи г-жи Обен, вязавшей у окна, долетали до Фелиситэ, которая вертела в кухне колесо прялки.

Они гуляли вдвоем по винограднику и всегда говорили о Виргинии – что бы она могла сказать в том или ином случае и что ей понравилось бы.

Все ее вещи занимали стенной шкаф в комнате с двумя кроватками. Г-жа Обен избегала смотреть на них. Однажды летом она решилась взглянуть – и моль вылетела из шкафа.

Платья Виргинии висели одно возле другого, под полкой, где были три куклы, серсо, посуда и тазик. Они вынули также юбки, чулки, платки и, прежде чем убрать, разложили их на кроватках. Солнце освещало эти жалкие предметы: хорошо были видны пятна, складки, которые оставили после себя из-

гибы ее тела. Было ясно и тепло, трещал дрозд, все кругом, казалось, тихо наслаждалось жизнью. Нашлась и маленькая коричневая шапочка из мохнатого плюша, но вся она была изъедена молью. Фелиситэ попросила ее себе. Они взглянули друг на друга. Их глаза наполнились слезами. Тогда хозяйка открыла служанке объятия; та бросилась к ней, и они обнялись, давая исход своему горю в поцелуе, который их уравнивал. Раньше этого никогда не бывало: г-жа Обен не отличалась экспансивностью. Фелиситэ была ей благодарна за этот поцелуй, как будто та ее облагодетельствовала, и с тех пор боготворила свою госпожу и была ей предана, как собака.

Сердце Фелиситэ раскрылось для добра.

Заслышав на улице барабанный бой проходящего в походном порядке полка, она становилась у дверей с кувшином сидра и угощала солдат. Она ухаживала за больными холерой, помогала полякам; один из них хотел даже жениться на ней. Но они не поладили: однажды утром, возвратясь от заутрени, она застала его на кухне за винегретом, который он сам приготовил и преспокойно ел.

После поляков предметом ее попечений стал дедушка Кольмиш, слывший участником ужасов 93-го года. Он жил на берегу реки в развалившемся свином хлеву. Уличные мальчишки заглядывали в щели стен и бросали в старика булыжники, которые падали на убогую кровать, где он лежал, постоянно сотрясаясь от кашля; у него были очень длинные

волосы, воспаленные веки и опухоль на руке – огромная, больше его головы. Фелиситэ раздобыла старику белье, старалась вычистить его конуру, мечтала о том, чтобы устроить его в пекарне, где он не мешал бы барыне. Когда у Кольмиша открылся рак, она ежедневно обмывала его, иногда приносила ему лепешку, укладывала его на солнце на солому. И бедный старик, дрожа и брызгая слюной, благодарил ее угасшим голосом, боялся ее утратить, простирал к ней руки, когда она уходила. Он умер. Она заказала обедню за упокой его души.

В тот день Фелиситэ ожидало большое счастье: во время обеда явился негр г-жи де Ларсоньер с попугаем в клетке, с жердочкой, цепочкой и висячим замком. Баронесса извещала г-жу Обен, что ее муж назначен префектом и что они вечером уезжают. В знак своего уважения она просила ее взять себе на память эту птицу.

Попугай уже давно занимал воображение Фелиситэ, ведь он прибыл из Америки, а это слово напоминало ей Виктора, и она часто справлялась о птице у негра. Как-то раз она даже сказала: «Барыня была бы очень рада, если бы у нее был такой попугай!»

Негр передал эти слова своей госпоже, которая не могла взять с собой попугая и отделалась от него таким образом.

IV

Его звали Лулу. У него было зеленое туловище, кончики крыльев розовые, голубой лоб и золотистая шейка.

Но он отличался надоедливой привычкой – кусать жердочку, вырывать у себя перья, разбрасывать нечистоты, разливать воду из корытца; он наскучил г-же Обен, и она отдала его навсегда Фелиситэ.

Та принялась его учить. Вскоре он повторял: «Милый мальчик! Ваш покорный слуга! Здравствуйте, Мари!» Фелиситэ поместила его у дверей, и некоторые удивлялись, что он не отвечает, когда его зовут Жако, так как все попугаи носят эту кличку. Его сравнивали с индюшкой, с бревном, – для Фелиситэ это было словно нож в сердце. Когда на Лулу глядели, то – странное дело! – он всегда упорно молчал.

Тем не менее он искал общества. По воскресеньям, когда *барьшени* Рошфейль, маркиз де Гуппевиль и новые знакомые – аптекарь Онфруа, г-н Варен и капитан Матье – играли в карты, попугай начинал биться крыльями в стекла и так неистовствовал, что заглушал все голоса.

Наружность Бурэ, без сомнения, казалась ему очень смешной. Увидя его, попугай начинал хохотать, хохотать до упаду. Раскаты его смеха оглашали двор, их повторяло эхо. Соседи выглядывали из окон и также смеялись. Надвинув шляпу на лоб, чтобы попугай его не видел, Бурэ крался вдоль

стены, пробирался к реке и затем входил через садовую калитку, и нельзя было сказать, чтобы взгляды, которые он бросал на птицу, отличались нежностью.

Мальчишка из мясной дал Лулу щелчок за то, что тот сунул голову в его корзину; с тех пор попугай всегда старался ущипнуть его сквозь рубашку. Фабю угрожал свернуть птице шею, хотя он не был жесток, несмотря на татуировку на руках и большие бакенбарды. Напротив, он чувствовал к попугаю скорее симпатию и хотел даже для потехи выучить его ругаться. Фелиситэ пришла в ужас и водворила Лулу на кухне. Цепочка с него была снята, и он разгуливал по всему дому.

Спускаясь по лестнице, он упирался в ступеньки кривым клювом, поднимал одну лапу за другой, и Фелиситэ боялась, как бы у него не закружилась голова от такой гимнастики.

Однажды попугай заболел, ничего не ел и не говорил. Под языком у него образовался нарост, какой бывает иногда у кур. Фелиситэ вырвала его ногтями – и Лулу выздоровел. Как-то раз Поль имел неосторожность пустить ему в клюв клуб табачного дыма; в другой раз г-жа Лормо раздрадила его зонтиком, и он схватил наконечник. Наконец он пропал.

Фелиситэ пустила его на траву, чтобы он подышал свежим воздухом, и отлучилась на минуту. Когда она вернулась, попугай исчез. Сначала она искала его в кустах, на берегу и на крышах, не слушая хозяйки, которая кричала: «Осторожнее! Вы с ума сошли!» Затем она осмотрела все сады в Пон-

л'Эвеке и стала останавливать прохожих: «Не видали вы случайно моего попугая?» Тем, кто не знал Лулу, она описывала его приметы. Вдруг ей почудилось, что за мельницами, у подножия холма, летает что-то зеленое. Но там ничего не оказалось. Разносчик утверждал, что сию минуту видел попугая в Сен-Мелене, в лавке тетки Симон. Фелиситэ побежала туда. Там ее не поняли. Наконец она вернулась домой в изнеможении, изорвав башмаки, со смертельной тоской в душе. Сев на скамью около барыни, она рассказывала о всех своих приключениях, как вдруг что-то упало ей на плечо. Лулу! Что он делал, плутишка? Может быть, прогуливался по окрестностям?

Фелиситэ едва оправилась от этого потрясения, – вернее, никогда не могла оправиться от него вполне.

Она простудилась и захворала жабой; немного спустя заболели уши. Через три года она оглохла и стала говорить очень громко, даже в церкви. Хотя об ее грехах могли бы знать во всех углах прихода, и это не бросило бы на нее тени и никого не ввело бы в соблазн, – кюре находил удобным исповедовать ее лишь в ризнице.

Шум в ушах окончательно сбивал ее с толку. Часто хозяйка говорила ей: «Боже мой, как вы глупы!» Она отвечала: «Да, барыня», – и начинала искать что-нибудь вокруг себя.

И без того тесный круг ее представлений еще более сузился: перезвон колоколов и мычанье быков перестали для нее существовать; все живые существа двигались молча, как

призраки; она уже не слышала теперь ничего, кроме голоса попугая.

Как бы для того чтобы развлечь ее, он воспроизводил шум вертела, пронзительный крик торговца рыбой, визг пилы столяра, жившего напротив, и, подражая г-же Обен, когда раздавался звонок, кричал: «Фелиситэ! Дверь! Дверь!»

Они вели между собой разговоры: он повторял несчетное число раз три фразы своего репертуара, она отвечала ему такими же бессвязными словами, в которых изливала свою душу. В своем одиночестве она полюбила Лулу, почти как сына, как возлюбленного. Он влезал ей на пальцы, кусал ее губы, взбирался на косынку; и когда она наклонялась, покачивая головой, как это делают кормилицы, края ее чепца и крылья птицы трепетали одновременно.

Когда собирались тучи и гремел гром, попугай испускал крики, может быть, вспоминая ливни родных лесов. Журчанье воды приводило его в безумный восторг; он метался, поднимался к потолку, все опрокидывал и вылетал через окно в сад барахтаться в лужах; но вскоре возвращался, садился на решетку камина и, подпрыгивая, отряхивал воду, поднимая то хвост, то клюв.

Однажды утром, в ужасную зиму 1837 года, Фелиситэ нашла Лулу мертвым в клетке, которую поставила перед камином, чтобы спасти его от холода; голова у него повисла, когти вцепились в железные прутья; он, должно быть, умер от прилива крови. Она подумала, что его отравили петрушкой,

и, несмотря на полное отсутствие улик, заподозрила Фабю.

Она так плакала, что хозяйка сказала ей:

– Ну, полно! Закажите из него чучело.

Фелиситэ посоветовалась с аптекарем, который всегда хорошо относился к попугаю. Тот написал в Гавр. Некий Феллаше взялся исполнить заказ. Но так как дилижанс терял иногда поклажу, то Фелиситэ решила сама отнести Лулу в Гонфлер.

Вдоль дороги тянулись яблони с обнаженными ветвями. Канавы покрылись льдом. Вокруг ферм лаяли собаки. И Фелиситэ поспешно шла по середине шоссе в маленьких черных сабо, с корзинкой, спрятав руки под плащом.

Она пересекла лес, миновала О-Шен, достигла Сен-Гатьена.

Сзади нее, в облаках пыли, как ураган мчался под гору мальпост. Увидя женщину, которая не сворачивала с дороги, кондуктор выглянул из-за верха экипажа, а кучер стал кричать, и четверка лошадей, которых он не мог сдержать, понеслась еще быстрее. Пара передних задела Фелиситэ. Кучер отбросил их на край шоссе, сильно дернув вожжами, поднял в бешенстве руку и со всего размаха стегнул Фелиситэ большим кнутом поперек тела так, что та упала на спину.

Когда она очнулась, первым ее движением было открыть корзинку. К счастью, Лулу был цел. Она почувствовала, что ей жжет правую щеку; поднесла к щеке руки: они стали красными, – текла кровь.

Фелиситэ села на кучу булыжника, прикладывая к лицу платок, потом съела краюшку хлеба, которую на всякий случай положила в корзинку, и забыла о своей ране, заглядевшись на птицу.

Достигнув вершины Экмовиля, Фелиситэ увидела огни Гонфлера, мерцавшие в темноте, как множество звезд; дальше расстилалось окутанное сумраком море. Она почувствовала слабость и остановилась. Горькое детство, обманутая первая любовь, отъезд племянника, смерть Виргинии – все эти воспоминания нахлынули на нее, как волны прибоя, слезы подступили ей к горлу, рыдания душили ее.

Она решила обратиться к капитану судна и дала ему необходимые указания, не говоря ни слова о том, что посылает.

Феллаше долго держал у себя попугая. Он всякий раз обещал прислать его на следующей неделе. Через полгода он сообщил об отправке ящика и умолк. Можно было предположить, что Лулу никогда не вернется.

«Они его украли», – думала Фелиситэ.

Наконец попугай прибыл. Он был великолепен; сидя на ветке, водруженной на подставке из красного дерева, он держал лапку в воздухе, наклонив голову набок и кусая орех, который набивальщик чучел позолотил из любви к грандиозному.

Фелиситэ заперла Лулу в своей комнате.

Это место, куда она пускала немногих, имело вид часовни и базара одновременно: столько было там предметов ре-

лигиозного культа и всякой всячины.

Большой шкаф мешал отворять дверь. Против окна в сад было круглое окошко, выходявшее во двор. На столе, около складной кровати, стоял кувшин с водой, лежали два гребня и кусок голубого мыла на тарелке с зазубренными краями. На стенах висели четки, медали, несколько мадонн, кропильница из кокосового ореха. На комод, покрытом сукном, как алтарь, стоял ящичек из раковин, подаренный Виктором; там же находилась лейка и большой мяч, тетради, география в картинках, пара башмаков, а на гвозде у зеркала висела на лентах маленькая плюшевая шапочка. Свою страсть к реликвиям Фелиситэ довела до того, что хранила даже один из рединготов барина. Она брала к себе в комнату все старье, не нужное г-же Обен; там на краю комода можно было найти искусственные цветы, а в углублении слухового окна – портрет графа д'Артуа.

Лулу, прикрепленный к дощечке, был поставлен на остове печной трубы, выходявшей в комнату. Фелиситэ видела его каждое утро, просыпаясь при свете зари, и, исполненная спокойствия, без скорби вспоминала минувшие дни. Перед ней во всех подробностях воскресали самые незначительные события.

Ни с кем не общаясь, она жила в состоянии оцепенения, точно лунатик. Процессии в праздник тела господня оживляли ее. Она обходила соседей, собирая свечи и циновки, чтобы украсить алтарь, который воздвигался на улице.

В церкви она всегда созерцала святого духа и заметила, что он немного похож на попугая. Сходство это еще больше бросалось в глаза на лубочной картинке, изображавшей крещение спасителя. Святой дух – с пурпуровыми крыльями и изумрудным туловищем – был настоящим портретом Лулу.

Она купила эту картинку и повесила ее на том месте, где раньше висел граф д'Артуа, так что видела одновременно и Лулу и святого духа. Они слились в ее уме в одно целое; сходство со святым духом освящало попугая, а святой дух стал для нее более живым и понятным. Бог-отец не мог избрать голубя для изъявления своей воли, ибо эти птицы не умеют говорить; он скорее должен был остановиться на одном из праотцев Лулу. И Фелиситэ молилась, глядя на образ, но время от времени поглядывала на птицу.

Она намеревалась постричься в монахини. Г-жа Обен отговорила ее.

Произошло важное событие. Поль женился.

Сначала он был клерком у нотариуса, затем служил в торговом предприятии, на таможне, в податном ведомстве и даже начал хлопотать о месте в департаменте по охране вод и лесов, как вдруг, по наитию свыше, в тридцать шесть лет нашел свое призвание – служить в управлении косвенными налогами – и обнаружил здесь такие способности, что контролер выдал за него дочь и обещал оказать протекцию.

Поль остепенился и приехал к матери с женой.

Она издевалась над обычаями Пон-л'Эвека, держала себя

как принцесса, оскорбляла Фелиситэ. После ее отъезда г-жа Обен вздохнула с облегчением.

На следующей неделе было получено известие о смерти г-на Бурэ в гостинице, в Нижней Бретани. Слух, что он покончил самоубийством, подтвердился. Возникли подозрения относительно его честности. Г-жа Обен проверила состояние своих счетов и обнаружила ряд мошенничеств: растрату арендной платы, тайную продажу лесов, поддельные расписки и т. п. Мало того, у Бурэ оказался незаконнорожденный ребенок: он «был в связи с какой-то особой из До-зюле».

Г-жа Обен была удручена всеми этими мерзостями. В марте 1853 года у нее заболела грудь, язык покрылся налетом; пиявки не помогли, и на девятый вечер она скончалась, семидесяти двух лет от роду.

Она казалась моложе благодаря темным волосам, пряди которых обрамляли ее бледное, изрытое оспой лицо. Немногие пожалели о ней: она отличалась отталкивающей надменностью.

Фелиситэ оплакивала свою госпожу так, как оплакивают хозяев. Она не могла примириться с мыслью, что барыня умерла раньше ее, – это казалось ей чем-то неестественным, недопустимым, чудовищным.

Через десять дней (столько времени требовала дорога от Безансона) явились наследники. Невестка перерыла ящики, отобрала часть мебели, продала остальную. Затем они вер-

нулись в свое управление.

Кресло барыни, ее столик, грелка, восемь стульев – все исчезло! Места гравюр вырисовывались желтыми квадратами на перегородках. Наследники увезли обе кровати с тюфяками, а в стенном шкафу ничего не осталось из вещей Виргинии! Фелиситэ обошла дом, шатаясь от горя.

На следующий день на дверях появилось объявление; аптекарь прокричал Фелиситэ на ухо, что дом продается.

Она пошатнулась и вынуждена была сесть.

Больше всего удручало Фелиситэ, что ей придется покинуть свою комнату, где было так хорошо бедняжке Лулу. Бросая на него взгляды, полные тоски, она обращалась с мольбой к святому духу, – у нее выработалась привычка молиться, стоя на коленях перед попугаем, как перед идолом. Солнце, проникая через слуховое окно, ударяло иногда в его стеклянный глаз, от него исходили искрящиеся лучи, – и это приводило Фелиситэ в экстаз.

Она получала пенсию в триста восемьдесят франков, завещанную ей хозяйкой. Огород доставлял ей овощи; что касается одежды, то у нее было во что одеться до конца жизни. Она ничего не тратила на освещение, ложась спать с наступлением сумерек.

Фелиситэ почти не выходила, избегая лавку торговца случайными вещами, где было выставлено кое-что из их старой мебели. Она волочила ногу с тех пор, как ее сшиб кучер дилижанса. Ее силы падали, и тетка Симон, одряхлевшая в сво-

ей лавке, ежедневно приходила к ней по утрам – наколоть дрова и накачать воду.

Ее глаза ослабели. Ставни окон не открывались более. Прошло много лет, но никто не нанимал и не покупал дома.

Боясь, как бы ее не выпроводили, Фелиситэ ни разу не просила о ремонте. Решетины на крыше гнили; в продолжение всей зимы изголовье было мокро. После пасхи она начала харкать кровью.

Тогда тетка Симон обратилась к доктору.

Фелиситэ захотела узнать, что с ней, но была так глуха, что разобрала только слова: «Воспаление легких!» Они были ей знакомы, и она кротко ответила: «А! Как у барыни», находя вполне естественным последовать за своей госпожой.

Приближался день, когда на улицах сооружали алтари.

Первый алтарь всегда воздвигался у подножия холма, второй – перед почтой, третий – пройдя пол-улицы. По поводу третьего возникли споры; прихожанки избрали, наконец, двор г-жи Обен.

Лихорадка и удушье у Фелиситэ усилились. Она горевала, что ей не удастся участвовать в сооружении алтаря. Если бы она могла по крайней мере возложить на него что-нибудь! Тогда она подумала о попугае. Соседки были против, находя это неуместным, но кюре разрешил, и она была так счастлива, что попросила его взять себе после ее смерти Лулу, единственное ее сокровище.

Со вторника до субботы, кануна праздника тела господня,

Фелиситэ кашляла особенно часто. Вечером ее лицо сморщилось, губы прилипли к деснам, появилась рвота, и на другой день, на рассвете, чувствуя себя очень плохо, она велела позвать священника.

При соборовании присутствовали три старушки. Затем она заявила, что ей надо поговорить с Фабю.

Он пришел в воскресном костюме; ему было не по себе в этой зловещей атмосфере.

– Простите меня, – сказала она, с усилием протягивая руку, – я думала, вы его убили.

Что за галиматья! Подозревать в убийстве такого человека, как он! Фабю выходил из себя и готов был затеять целую историю.

– Вы сами видите, что она выжила из ума!

У Фелиситэ начались галлюцинации. Старухи ушли. Симон позавтракала.

Через некоторое время она взяла Лулу, поднесла его к Фелиситэ и сказала:

– Проститесь с ним.

Хотя он не был трупом, но его пожирали черви: одно из крыльев было сломано, из живота вылезла пакля. Но Фелиситэ, слепая теперь, поцеловала его в лоб и прижала к щеке. Симон взяла попугая, чтобы положить его на алтарь.

V

От трав веяло ароматом лета, жужжали мухи; река блестела на солнце, черепицы раскалились.

Вернувшись в комнату, тетка Симон задремала. Ее разбудил колокольный звон, – кончилась вечерня. Бред Фелиситэ утих. Она думала о процессии и представляла ее себе так живо, как будто сама следовала за нею.

Все школьники, певчие и пожарные шли по тротуарам, а посреди улицы выступали привратник, вооруженный алебардой, пономарь с большим крестом, учитель, наблюдавший за мальчиками, монахиня, беспокоившаяся о своих девочках: три, самые маленькие, завитые, как херувимы, бросали кверху лепестки роз. Дьякон, расставив руки, управлял хором и музыкантами; два церковнослужителя с кадилами оборачивались на каждом шагу к святым дарам; их нес одетый в великолепную ризу кюре, под балдахином из пунцового бархата, который держали четыре церковных старосты. Волна народа катилась сзади, между белыми стенами домов. Наконец прибыли к подножию холма.

Холодный пот выступил на висках Фелиситэ. Симон вытерла ее полотенцем, говоря себе, что когда-нибудь ей также придется испытать это.

Гул толпы усилился, стал оглушительным, потом начал удаляться.

Стекла окон задрожали от ружейной пальбы: почтари приветствовали чашу со святыми дарами. Фелиситэ повернула глаза и, беспокоясь о попугае, сказала шепотом:

– Хорошо ли ему?

Началась агония. Фелиситэ хрипела все чаще и чаще, грудь ее высоко поднималась, в углах рта выступила пена. Она дрожала всем телом.

Вскоре послышалось гудение валторн, звонкие голоса детей, басы мужчин. По временам все умолкало, и стук шагов, заглушенный цветами, напоминал топот стада на лугу.

Во дворе появился церковный причт. Симон вскарабкалась на стул к слуховому окну и очутилась над самым алтарем.

Он был украшен оборкой из английских кружев, зеленые гирлянды свешивались с него. Посредине стояла небольшая рака с мощами, по углам – два апельсиновых дерева, а вдоль всего алтаря – серебряные подсвечники и фарфоровые вазы, из которых устремлялись вверх подсолнечники, лилии, пионы, наперстянки, пучки гортензий. Эта сверкавшая яркими красками горка от второго этажа спускалась наискось к ковру, разостланному на мостовой. Привлекали взор разные редкости: позолоченная сахарница, увенчанная фиалками, подвески из алансонских камней, блестящие на мху, две китайские ширмы с пейзажами. Розы покрывали Лулу, и виден был только его голубой лоб, похожий на пластинку из ляпис-лазури.

Церковные старосты, певчие, дети стали рядами с трех сторон двора. Священник медленно взошел на ступени и поставил на кружева золотую дароносицу, блиставшую на солнце. Все преклонили колени. Воцарилось молчание. Кадила высоко взлетали на цепочках.

Голубые волны поднялись в комнату Фелиситэ. С упоением, в экстазе, она вдыхала их, потом закрыла веки. Ее губы улыбались, а сердце билось все медленнее, все тише и незаметнее, как иссякающий фонтан, как замирающее эхо. И когда она испускала последнее дыхание, ей казалось, что она видит в разверстых небесах гигантского попугая, парящего над ее головой.

ПРИМЕЧАНИЯ

В 1872–1873 годах Флобер перемежает сбор материалов для романа «Бувар и Пекюше» работой над пьесами «Слабый пол» и «Кандидат». После провала пьесы «Кандидат» и безуспешной попытки предложить театрам пьесу «Слабый пол» Флобер вернулся к напряженным занятиям над «Буваром и Пекюше». В 1875–1877 годы в порядке отдыха, как выражается писатель, он отвлекается для работы над тремя произведениями: «Легенда о св. Юлиане Странноприимце» (сентябрь 1875 – февраль 1876); «Простая душа» (февраль 1876 – август 1876); «Иродиада» (август 1876 – февраль 1877).

И. С. Тургенев перевел на русский язык «Легенду о св. Юлиане» и «Иродиаду»; эти переводы были напечатаны в апрельской и майской книжках «Вестника Европы» за 1877 год.

В апреле 1877 года «Три повести» Флобера вышли в свет в издательстве Шарпантье.